



**Н. Ф. ФЕДОРОВ**

**Письмо к В. А. Кожевникову<sup>1</sup>**

<...> То, что мы ожидали в не очень еще близком будущем и только у таких высокоцивилизованных животных, как, например, американцы, а именно уничтожение даже гражданского погребения, отождествление его с вывозом всяких нечистот, в этом отношении Толстой оказывается действительно человеком XX века, даже, может быть, конца XX века, когда прогресс личности достигнет последней степени совершенства, т. е. когда каждый, признавая существование лишь себя, будет отрицать существование всех других, будет признавать других не в качестве личности, а в качестве лишь вещей, которые при обветшании их *живущие* будут бросать и удалять от глаз, чтобы не возбуждали в живущих аналогического представления (вывода) относительно самих себя. Согласно с прогрессом погребения, произойдет великое преуспеяние в устранении рождения. Признающие существование лишь самих себя, конечно, не будут давать или отдавать жизнь детям, и сим последним не придется жаловаться, что им дали жизнь, не испросив их на то разрешения. Рождение, соединенное с болезнью, с трудом питания и воспитания, будет устранено легчайшим способом, и все силы будут направлены исключительно на брачные, без рождения, наслаждения, и жизнь личная достигла бы если не до *infini*, то до *indéfini*, как это еще провидел пророк XVIII века Кондорсе<sup>2</sup>. Вместе с расширением половой любви, взаимной любви мужчины и женщины, когда такая любовь достигнет высшей степени, и взаимная ненависть однополых друг к другу достигнет также совершенства. Между однополыми будут столкновения, а между разнополыми наибольшее сближение. Если спаривание приведет к сближению до безразличия, то ненависть однополых приведет к отчуждению до истребления. Таков идеал цивилизации и прогресса.

Многоталантливый художник и ремесленник и совершенно бесталаный философ, Толстой не подлежит вменению. Тем не менее тот, кто, по свидетельству самого Толстого, назвал его дьяволом в человеческом образе, был недалеко от истины, той истины, которую Толстой заменил христианство. Призывающий Россию к неплатежу податей обвиняет в подстрекательстве синодальное определение, отличающееся неизвинимою мягкостью. Толстой сам недоволен этою мягкостью. Ему очень бы хотелось поруганий, поношений, что придало бы ему ореол мученика; а он так жаждет дешевой ценой приобретенного мученичества. Известно, что про человека, сказавшего ему, что он желает и делает лишь зло, Толстой жаловался, что тот его будто бы ругал, а он, Толстой, смиренно принял это поругание, поношение, «всяк зол глагол».

По собственному свидетельству, «от Бога исшедший и к Богу идущий» завещает человеку *неделание*, т. е. освобождение от всякой работы, и особенно умственной, обезглавление человека; рабочий день низводится от 8 часов до 0, а 16-часовая праздность доводится до 24 часов. Толстой хочет всех сделать невеждами, закрыть все пути к знанию! Враг науки и искусства, он на деле высказывает глубокое уважение к художественной промышленности или ремеслу. Сапожные его работы Фет хранил как изящное произведение. Это произведение было прямым ответом на вопрос Д. Писарева: «Что выше — Шекспир или сапоги?»<sup>3</sup>

Если бы рожденные почувствовали, что рождающие, давая им жизнь, сами теряют ее, свою жизнь, то что они, рожденные, признали бы своим делом, своею обязанностью? Когда рожденные, достигши полноты роста, чувствуют в себе избыток сил, а у их родителей в это самое время оказывается недостаток сил, то вопрос об их обязанности к родителям требует настоятельнейшего разрешения. Не задавая себе этого вопроса, как и все животные, а подчиняясь слепой силе, чувственным влечениям, заменяя братский союз для возвращения жизни отцам брачным сочетанием, человек повторяет в сокращенном виде мировой процесс жизни и всей пока истории, совершенно не сознавая происходящего в нем при брачном сочетании, не сознавая того, что происходит в брачной чете.

Толстой тоже признавал неестественность брака для человека, но, отрицая его, он ничего не ставил на его место. Конечно, воздержанием от сочетания и рождения не сохранить жизни<sup>4</sup>. Нужно познание и управление процессом жизни, чтобы начать дело возвращения жизни отцам, т. е. всеобщее воскрешение; это и будет Царство Божие, новое небо и новая земля.

В довольно близком к этому изложению виде Толстому известно было это учение о воскрешении. В беседе с Троицким<sup>5</sup>, профессором психологии, и другими членами Психологического общества Толстой даже излагал это учение (конечно, в смешном виде), предлагая избрать автора этой теории членом Психологического общества. Так Троицкий передавал этот разговор Буслаеву<sup>6</sup>. Даже на обычное возражение, как же уместятся на земле воскрешенные поколения, Толстой, по словам Троицкого, отвечал (конечно, с улыбкой), что и это предусмотрено: царство знания и управления не ограничено землей. Таким или чем-нибудь подобным отвечал Толстой, вызвав неудержимый смех всех присутствующих. Конечно, Толстой не настолько знал это учение, чтобы не смешивать его с другими, ничего общего с ним не имеющими. Так, приискал он некоего, кажется, Никифорова<sup>7</sup>, женатого на сестре известной Засулич<sup>8</sup>, который на основании известного статистического вывода об увеличении средней продолжительности человеческой жизни делал заключение к бессмертию, конечно будущих, поколений, что прямо противоположно учению об обращении слепой, рождающей и умерщвляющей силы в управляемую разумом, т. е. в воссозидающую и оживляющую все прошедшие поколения. Хотя объединение есть необходимое условие исполнения долга сыновнего, долга сынов умерших отцов, но следующая фраза Толстого, о которой он говорил, что *она должна очень понравиться признающим общее дело рода человеческого*: «Давайте мы, по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански, налягнем народом, не поднимем ли. Дружной, братцы, разом!» Эта фраза понравиться признающим общее дело не могла, и в этом, конечно, Толстой ошибался. Объединение на одно мгновение вовсе не подходит к соединению всех людей, к объединению в труде познания слепой силы природы.

<...> Когда Толстой говорит, что «смерть не дурная вещь», то <...> не должны ли мы спросить о значении этого изречения. Разумеет ли он под смертью конец жизни, сопровождаемый мучительными, отвратительными болями, или же конец жизни, остающийся совершенно неизвестным для всех, не считающих себя «просветленными» свыше. Ему известны попытки криминалистов-филантропов изобрести казнь, лишенную всякой боли, мучительности. Но достигли ли они цели? Предполагая даже возможно безболезненную смерть, разве недостаточно одной неизвестности, чтобы не называть хорошим то, что можно назвать только неизвестным. Даже те, которые признают другую, лучшую, жизнь, и те переход к ней не считают хорошим. Но смерть

не есть лишь конец жизни, она проникает всю жизнь, являясь в ней в виде всего того, что ее разрушает. Тогда похвала смерти должна быть распространена на все болезни, на все бедствия, от коих страдают люди. Это объединение в чувстве глубоко различается от построения храмов в один день, в *определенный период времени*.

Панегирист смерти — величайший лицемер нашего времени. Кроме лицемерия, свойственного сословию, к которому он принадлежит, лицемерие — самая существенная личная черта его характера. Какую бездну бесстыдства надо иметь, чтобы, проповедуя отказ от платы податей и от воинской повинности, относить это к непротивлению злу и прикидываться таким человеком, который желает мира, а не величайшей смуты?

Конечно, требовать от Толстого, который в чудо не верит, а логики не признает, требовать, чтобы он говорил подумавши, чтобы в его словах был смысл, нельзя. Поэтому когда он говорит, что «смерть не дурная вещь», то если он, избалованный всеобщим поклонением, не вменяет в обязанность принимать его слова на веру, как бы нелепы они ни были, не должны ли мы спрашивать Толстого, чью смерть он считает недурною, свою или других людей, близких или неблизких, совершенно лишнее — Толстой знает только себя.

